
Анна Вердери
Академия Этерии:
Печать
18+

Анна Вердери
Академия Этерии. Печать

https://litres.ru/74706662
SelfPub; 2026

Аннотация

Я вернулась домой и поставила печать за восемь минут — криво, одной стихией, зато держит. Закрыта стена. Дверь — нет.

Теперь я смотритель при собственной печати, а Вейн больше не ректор: половину огня он оставил за стеной. Совет считает нас его ошибками. Он приходит ко мне с мясом для пса и садится рядом. Между нами всё так же поднимается пар: стоит сблизить руки, и в белом тумане гаснет любая стихия.

Раз в несколько дней из-за меди стучат: два коротких удара, пауза, один длинный. тот код Вейн придумал мальчишкой, в северном корпусе, и научил ему брата. Тот, кто отвечает, его выучил.

А в академии учится адепт, которого не помнит никто: он отвечает на всё и не спрашивает ничего. Его впустили через дверь, которая открывается только изнутри. Кто-то здесь правит документы почерком моей матери, которой нет здесь двадцать пять лет. Из-за стены мне уже ответили именем, которое я знаю лучше всех.

Первую половину правды я нашла. Вторую держат руками. Я собираюсь её достать.

Содержание

Пролог 4
Глава 1. Старик у ворот 7
Глава 2. Восемнадцать 16
Глава 3. Чужая рука 20
Конец ознакомительного фрагмента. 31

Анна Вердери
Академия Этерии. Печать

Пролог

Дверь тёплая снаружи. С той стороны, где её держат, камень под ладонью холодный, и по нему идёт мелкая дрожь, если снаружи берётся за дело чья-то магия.

Он ложится на дверь всем весом: плечо в шов, обе ладони ниже, каблуки упёрты в пол. Так не держат вещь. Так держат то, что хочет уйти.

Поначалу шов под ним расходился на волосок — так, что этого не видели глазами, а слышали: шорох, будто в стене осыпается песок. Тогда он перекладывал вес и держал, пока шорох не стихал.

Она считает дни вслух. У неё это вместо часов: «Ещё один», — говорит она утром, и он узнаёт утро только по её голосу. Пальцы у неё мёрзнут всегда, и она греет их о камень у самого шва.

Он велел ей запоминать всё, что слышно в стене: стена держит крепче бумаги, а бумагу здесь правит кто угодно.

Он здесь четвёртый год, и он у них третий. Пришёл сам, ни о чём не спросил и встал в смену, как встают на работу, которую не выбирают. Имени он не называет, и здесь вообще

не спешат с именами: имя — лишняя единица, а единицы тут считают все.

Считает и стена.

Снаружи начали стучать.

В первую ночь он не понял. Три удара, но не подряд: два коротких, потом долгая пауза, потом один, тяжёлый, будто человек набирал дыхание между словами. Он решил, что там сбились и бросят. К утру он знал, что не бросят: стук повторился, и в нём был порядок.

Он слушал эту ночь и следующую. Два коротких, пауза, один длинный. Два. Пауза. Один. К третьей ночи он различал, где кончается один удар и начинается другой, и понимал: с той стороны не бьют в стену. С той стороны разговаривают.

Ответить он не мог. Чтобы ответить, надо отнять от двери руку, а отнять руку было нельзя.

Учила она. Сидела у его плеча и отбивала ритм ладонью по колену: два, пауза, один.

— Так спрашивают, — сказала она. — Значит, там ещё кто-то живой и ещё умеет считать.

Он запомнил ритм и стал ждать пауз: в паузу дверь слушает лучше.

А потом по камню прошло тепло.

Он лежал на двери и чувствовал, как её снаружи закладывают: сначала жар, потом сухость, потом медь. Шов перестал расходиться, и держать стало легче, чем за все двадцать два

года, что её держали.

Она отбила по камню ответ: два коротких, пауза, один длинный. Там затихли. Потом ударили ещё раз, тем же счётом, и ещё раз, и ещё.

Его услышали.

С тех пор отвечает она, а он слушает, даже когда держать труднее всего, и ни разу не спросил, кто там. Пока с той стороны считают. На счёт она отвечать умеет.

Он ждёт, когда начнут спрашивать.

Глава 1. Старик у ворот

К концу ноября академия научилась жить с печатью.

Адепты вернулись из города, занятия шли по расписанию, в столовой восстановили прежний порядок: суп, каша, мясо по вторникам. Северное крыло стояло закрытым, но галерея с медным швом была открыта — по описи Совета, «для постоянного наблюдения», — и смотритель в ней числился один.

Ева входила туда в семь и уходила в десять. Она мерила и записывала. К концу первого месяца у неё появился свой ритуал, и она не любила это признавать: сначала лампа, потом окно, потом ладонь на медную дугу — на то бледное место, которое последнее время было тёплым.

Тёплым оно было не всегда. Иногда по три дня подряд от него шёл холод, и Ева стояла и считала, пока холод не сменялся. В отчёте для Совета она писала коротко: «колебания в пределах наблюдавшихся ранее». Совет читал и не приезжал.

Про то, что камень ответил именем, Ева до этого дня не сказала никому, кроме Вейна. В Совете из этого сделали бы дело, в описи — строку, а в галерее с этого слова держалось всё: и медный шов, и её смена с семи до десяти, и то, что она приходила сюда каждый день.

Заррина это тоже касалось. Вывезти его не успели: приказ

был, списки составили, обозы дошли до развилки и встали — пришло второе распоряжение: ждать. Ждали неделю. За эту неделю печать встала, и надобность отпала сама. Дорогу на север открыли в конце октября, и в академию снова пошли подводы с песком и стеклом — тем же трактом, что и раньше.

Контур Ева знала только по бумагам. В описи он назывался «нижней линией удержания» и стоял между старыми печатями и запасом песка — сооружение, отключённое сто двенадцать лет назад, к учёту не требуется. Так было написано в трёх книгах подряд и в постановлении, которым закрыли работы. Человека, который бы его держал, в этих книгах не было и быть не могло: за контуром не числилось ни должности, ни жалованья, ни строки, куда вписывают того, кто за него отвечает.

В тот день с утра моросил дождь.

Ева сидела над ведомостью, когда в дверях галереи появился Санд — сторож при воротах, тот, которому Совет оставил ключи и которого она уже месяц подкармливала чаем.

— Там это, — сказал он. — Старик.

— Какой старик?

— Не наш. Пришёл, стоит у ворот, спрашивает Корнилову. Я говорю: не положено. Он говорит: положено, я по делу контура.

Ева отложила перо.

Она нашла его там же, где в первый раз, — у ворот, у

самой арки, с той же тростью — металлической, с зелёным огоньком в навершии, — и без прежней тёмной мантии, в сером, слишком лёгком для этой погоды пальто. Он был мокрый, и на него не смотрели: двое адептов прошли в двух шагах и не обернулись.

Он посмотрел на неё так же, как в сентябре у ворот, — спокойно, будто ответ был очевиден.

— Ну вот вы и на месте, — сказал он.

Ева остановилась.

— Вы знали, что я тут буду.

— Я знал, что кто-то будет. — Трость качнулась в сторону северного корпуса. — А что это окажетесь вы — я знал точно. Я двадцать пять лет жду, чтобы тут стояла Корнилова.

— Кто вы?

— Смотритель, — сказал он. — Как вы, только старый. Я держал нижний контур.

Дождь шёл по его лицу, и он не вытирал.

— Он отключён сто двенадцать лет, — сказала Ева.

— Так в бумагах написано. — Старик не улыбнулся. — Бумагам про контур вообще врать удобно: их читают люди, а не контур. Он сто двенадцать лет не гас, и всё это время его кто-то держал. Держали четверо, потом двое, потом один. Двадцать пять лет назад — я один.

— Почему я об этом не знала?

— Потому что вы вошли в ворота этой осенью, а я держал не академию. — Он посмотрел на неё внимательно. —

И потому что ваша мать меня попросила: держать, пока не придёте вы.

Ева стояла под дождём и слышала, как в груди что-то опускается — медленно, как вода в колодце.

— Они вам писали?

— Они со мной говорили, — сказал старик. — Это было двадцать два года назад, здесь, в столовой. Алина сидела у окна и держала чашку обеими руками, потому что у неё мёрзли пальцы.

Он сказал это без нажима, и от этого становилось тяжелее.

— Где они?

— Не знаю. — Он ответил сразу. — Я знаю, что они вошли, и знаю, что не вышли. Я с той стороны не был, я держал эту сторону.

— Почему вы ушли тогда, из ворот?

— Потому что он меня ещё держал, — сказал старик. — Двадцать пятого октября я почувствовал, что он больше не на мне. Меня нет в академии двадцать пять лет, Ева: я сдал ключи и не сдал отчёт. С тех пор живу там, где меня нет ни в одном списке, а строка за мной держится.

— Что значит «держать»? — спросила Ева. — Руками?

— Собой. — Старик переложил трость из руки в руку. — Контур не печать, его не поставишь и не снимешь. Его держат, как держат дверь, которую тянет сквозняк: пока стоишь, она закрыта. Двое могут меняться, один не может — потому нас и держали по очереди.

Он наконец посмотрел ей за плечо, в сторону корпусов, и Ева обернулась: в окне первого этажа, за мокрым стеклом, сидел Эйнар Керт и смотрел на них — спокойно и внимательно, как на объявление.

— Здесь, — сказал старик, — разговор не для улицы.

Ева впустила его.

Она вела его через пустой корпус сама, никого не спросив, и по дороге он ни разу не оглянулся — ни на адептов, ни на двери, ни на запертое крыло. В галерее он остановился в пяти шагах от медной дуги и смотрел долго, не двигаясь и не поднимая трости.

Потом сказал:

— Криво.

— Да.

— Стена закрыта, — сказал старик. — Дверь — нет.

Он подошёл к печати ближе, чем подходил кто-либо, кроме неё, и положил ладонь на медную дугу — на то бледное место, которое последние дни было тёплым.

— Здесь, — сказал он.

Ева не успела спросить, что «здесь». Из-за шва стукнуло: два коротких, пауза, один длинный.

Она замерла.

Старик не отнял руки. Он постоял так ещё немного, потом убрал ладонь и посмотрел на свои пальцы.

— Это не вам, — сказал он.

— Вы знаете, кто там?

— Я знаю, что там держат руками, а не печатью. — Он повернулся к ней. — Кто-то у вас лежит на двери, Ева. Изнутри, всем весом, и лежит давно.

— Кто?

— Спросите у стука. — Он посмотрел на медный шов. — Стук отвечает лучше, чем я.

Ева не стала делать вид, что не понимает.

— Я спрашивала, — сказала она. — В октябре. Он ответил именем. Алина.

Старик посмотрел на неё, и в его лице ничего не изменилось — так смотрят на цифру, которую проверяли двадцать пять лет.

— Значит, там она, — сказал он. — И значит, она ещё может отвечать.

Ева отошла к подоконнику и села, потому что ноги опять перестали держать.

— Объясните, — сказала она. — Что значит «стена закрыта, дверь нет».

Старик опёрся на трость.

— Граница — это стена, — сказал он. — Вы её заложили паром и медью, на восьмой минуте, криво, но заложили. Через стену теперь не пройдёт ни то, что шло в октябре, ни то, что ходило под полом. Это вы сделали хорошо.

— А дверь?

— А дверь в стене есть, — сказал он. — Она там стояла, когда академии ещё не было, и стоит она не для того, чтобы

что-то держать внутри. Она для того, чтобы академия оставалась снаружи. Об этом ваш друг Арден говорил верно.

— Значит, через неё можно войти?

— Через неё можно войти, — согласился старик. — Изнутри. Оттуда дверь открывается рукой. Снаружи — нет: снаружи её не открыть ни печатью, ни ломом, ни Советом.

Ева подняла на него глаза.

— А кто-то вошёл.

— Вошёл, — сказал старик. — Мальчишка, который сидел в окне. Он не вошёл сам, Ева. Его впустили.

— Кто?

— Этого я не знаю, — сказал старик. — Знаю только, что в ночь, когда вы запечатали стену, у двери работали воздухом. Дверь в нижнем зале поёт, когда рядом работают воздухом. Я слушал её двадцать пять лет и знаю, как она звучит, когда её трогают с этой стороны.

Ева сидела и считала.

— А в ночь нападения, до печати, в северном крыле работали воздухом, — сказала она вслух. — Следы нашли и свалили на Ардена. Одного воздушника увели через внешний переход. — Она замолчала. — Итого: воздух, дверь и двое пропавших, Кай и Дана.

— Итого: воздух, — согласился старик. — Того, кто трогал дверь, ищите не в стене. Ищите в бумагах: кто в эти дни имел право ходить по нижнему залу и вернулся оттуда живым.

— Четверо от Совета, — сказала Ева. — И ещё пятеро с ними.

— Значит, — сказал старик, — либо один из четверых, либо тот, кто писал за них.

Он поднял трость и пошёл к лестнице. У дверей галереи он остановился.

— Я приду, если позовёте, — сказал он. — Я хожу там, где меня нет в списках, и меня не помнит ни один человек в этой академии. Исключая вас.

— Как вас зовут?

Старик посмотрел на неё — и Ева увидела, что он улыбнулся одними губами, не разжимая их, точно так же, как тогда, у ворот.

— В бумагах есть, — сказал он. — Вам не понадобится.

Он ушёл.

Ева просидела в галерее до вечера. Дождь кончился, из-за облаков на полчаса вышло солнце, и медная дуга — вся, от косого шва до бледного места наверху — стала на это время тускло-золотой, как бок спящего пса.

Потом она открыла тетрадь.

Документ «О печати. Что известно» лежал в ящике, переписанный набело и подписанный, и переписывать его было нельзя: он уже ушёл в Совет. Поэтому Ева достала чистый лист и завела третью запись — для себя, не для отчёта.

Сверху она поставила дату и две строки, которые сказал старик:

«Стена закрыта. Дверь — нет».

А ниже записала его так, потому что имени он не назвал:

«Смотритель нижнего контура. Контур держат 112 лет, последние 25 — он один. В академии не числится. Придёт, если позвать».

И, подумав, дописала ещё одну строку — про мальчишку из окна: «Вошедшего впустили. Искать того, кто открывал».

Глава 2. Восемнадцать

Тетрадь лежала у неё на коленях, и Ева в третий раз перечитала строку, которую переписала из реестра ещё в октябре:

«Ребёнок не должен знать о происхождении до достижения совершеннолетия».

Под строкой её рукой была выведена дата и один вопрос: «кто снимает запрет?»

Она откинулась на спинку скамьи и посмотрела на медную дугу. Тёплое место у шва светилось слабо, как светится остывающая печь в темноте, и в галерее пахло холодным камнем и пылью, которую за месяц так и не научились здесь выметать.

Считать она умела. Аудитор ставит цифры рядом, а потом смотрит, что из них получается.

Восемнадцать. Семь лет назад.

Тот вечер она помнила подробнее, чем ей было нужно. Дождь, фонарь у круглосуточного магазина, отчёт, который не подождал. Он сидел у стены, между урной и газетным ящиком, и смотрел на неё так, будто вышел на работу и ждёт, когда начнётся смена.

Асфальт под ним был сухой.

Ева тогда списала это на ветер. Она умела объяснять всё, что видела, и это сослужило ей службу: семь лет она объясняла сухой асфальт ветром, а ровное тепло собачьего бо-

ка — породой. Ветеринар в первый год сказал: «Спокойный. Слишком спокойный», и она решила, что это комплимент.

Она открыла тетрадь на другой странице, туда, где в столбик были переписаны даты из папки «Ева-разное». Она сама их туда вписала две недели назад, ночью, когда не спалось.

Дача, двор, река. Ей семь, ей десять, ей двенадцать. Разные дома, разные причёски, разные пальто.

И у ног на снимках лежит Цезарь.

Не похожий, а тот же самый. Та же тяжёлая голова, та же песочная шерсть, тот же взгляд человека, которого оторвали от важных дел. На дачном снимке он стоит у калитки, а на снимке у реки лежит в траве у чьих-то ног.

Ева помнила, как наткнулась на эти снимки в первый раз. Тогда она минуту смотрела в окно, а потом закрыла папку и сказала себе, что мать просто скинула чужие фотографии из общей семейной кучи, и что в куче этой триста файлов и разбирать их некогда.

Она не поверила себе уже тогда. Просто отложила.

Цезарь спал у стены, вытянув лапы, и его правый бок в свете лампы отливал медью. Месяц назад медь легла ему на бок, от лопатки до бедра; теперь она была тусклой, как старое серебро, и шерсть над ней не росла. Ева смотрела на эту полосу и считала дальше.

Если правило действовало до восемнадцати, то до восемнадцати он приходил. Приходил и уходил, потому что ему было нельзя остаться; она не помнила ни одного из этих при-

ходов, потому что память ей правили, и правили не один раз. А в тот вечер у магазина он вышел и остался, и она честно, до последнего снимка, была уверена, что встретила его впервые в жизни.

— Ты приходил, — сказала она вслух.

Цезарь поднял голову.

— Раньше. До восемнадцати.

Он смотрел на неё без всякого выражения, и в этом взгляде не было ни удивления, ни попытки сделать вид, что он не понял. Он понял. Он просто не собирался отвечать.

— Ладно, — сказала Ева. — Я всё равно проверю по датам.

Он поднялся. Медленно, тяжело, как поднимается большая старая собака, которой нечего спешить, подошёл к скамье и положил голову ей на колени.

Она замерла. За семь лет он не делал так ни разу: не клал голову, не подходил первым, не давал задерживать руку. Ева опустила ладонь ему на холку. Под шерстью шёл знакомый сухой жар, ровный, как у нагретого камня.

— Хорошо, — сказала она тихо. — Убедил.

Они просидели так минут десять. Дождь стучал по окнам галереи, из-за медного шва один раз донеслись два коротких удара, и Цезарь повёл ухом, но головы не поднял.

Правило не снимается само. Так не бывает ни у Совета, ни в бумагах, с которыми Ева работала всю жизнь: то, что вписали, кто-то должен был вычеркнуть. Значит, в тот год,

когда ей исполнилось восемнадцать, в Совете кто-то сел и подписал бумагу о ней. Один человек и одна строка, из-за которой за ней семь лет ходил хранитель и молчал.

И второе. Брелок.

Она достала его из кармана и положила на ладонь. Круг с двумя линиями, стёртая позолота. Тот самый брелок, который нашёлся застёгнутым в боковом кармане сумки за день до перехода, и который Цезарь тогда не дал ей взять со стола.

Он не появился в её жизни вместе с псом. Он появился перед самым возвращением, когда граница пошла ходом, будто кто-то ждал подходящего дня и держал его под рукой двадцать пять лет.

Две бумаги, две даты и, очень может быть, одна подпись.

Ева закрыла тетрадь.

— Значит, и его кто-то положил, — сказала она. — И того, кто открыл дверь, тоже кто-то послал. Ищем в Совете.

Цезарь поднял голову, посмотрел на неё, потом на медную дугу, потом снова на неё, и тяжело вздохнул — так, как вздыхал каждое утро в её квартире, на четвёртом этаже, за один переход отсюда и за семь лет до всего этого.

Глава 3. Чужая рука

В архив Ева пришла до колокола. Сначала она постояла в галерее, у тёплого места, и только потом спустилась в архив.

Старый корпус в это время стоял пустой, и её шаги по каменной лестнице слышались далеко. Селма уже была на месте — сидела за столом с лупой и разбирала чью-то опись. Увидев Еву, она отложила лупу, но руки со стола не убрала, будто загораживала им бумаги.

— Я вас не ждала, — сказала она.

— Поэтому и пришла рано. — Ева села напротив. — Мне нужны описи входящих бумаг Совета. Все, что есть за двадцать пять лет.

Селма смотрела на неё дольше, чем требовал вопрос.

— За двадцать пять?

— За двадцать пять.

— Описи стоят в третьем шкафу. — Селма не двинулась с места. — За них расписываются, и раз в год, не чаще.

— Распишусь дважды.

Она не улыбнулась, но поднялась. Связку отстегнула от пояса отдельно, как отстёгивают деньги от чужого взгляда. Третий шкаф был в дальнем конце зала, за столбами, где свет из окон не доставал до пола.

— Их просили в прошлом месяце, — сказала она, вставляя ключ. — Дважды.

— Кто?

— Человек с бумагой. — Ключ повернулся со скрипом. — Бумага была правильная, я проверила.

— Какая бумага?

— Распоряжение. Печать, номер, подпись. — Селма вытянула на свет серый корешок. — Я тридцать лет выдаю здесь бумаги, Ева. Проверять я умею.

— А прежние?

— Прежние в четвёртом шкафу. Понадобятся — принесу.

— Понадобятся, — сказала Ева. — Все.

Она не стала спрашивать, что Селма проверила на этот раз. Взяла книгу, села к окну и открыла её там, где начинались листы с прошлого сентября.

Опись шла ровным архивным почерком, по строкам: дата, от кого, что, кому, сколько листов. В середине октября Ева нашла запись о приезде комиссии — четверо от Совета, три писаря, врач, и отдельной строкой один человек, у которого вместо должности стоял прочерк. Дальше шли бумаги, которые комиссия увезла, и бумаги, которые комиссия привезла, и в конце — короткая строка: «Постановление о состоянии печати. Исполнено».

Исполнено. Ева знала этот почерк.

Наклон влево, длинный хвост у «д», нажим на первых буквах, будто человек начинал писать с усилием. Тем же почерком был переписан лист с записями её матери, который она нашла в старом фонде, и поправлена дата в реестре

внешних переходов. Разница была только в чернилах.

Она листала дальше. Записи о спусках в нижний уровень велись в той же книге, отдельной графой: дата, время, сколько человек, кто сопровождал. За ноябрь там было три спуска, все с пометкой «по распоряжению комиссии». А в том месте, где расписывались за вход, стояли не подписи, а номера.

— Селма, — сказала Ева. — Здесь за вход расписывались номерами.

— Так положено для людей Совета. — Та не подняла головы от лупы. — У них ни фамилии в книге, ни имени. Номер, полномочие, срок.

— А кто вносил их в книгу?

— Тот, кто вёл комиссию. Писарь.

Ева вернулась к записи от середины октября и посмотрела на неё внимательнее. Строку о комиссии писал один человек, а строки о том, где комиссия ходила, — другой. Одна рука заполняла опись и оставалась в ней в течение всего месяца, аккуратно, как заполняют то, что читают часто. Вторая появлялась в книге четыре раза: каждый раз после спуска в нижний уровень.

Она перелистнула назад, к записям весны, к тем страницам, за которые расписывались до её появления в академии. Вторая рука была там и раньше. Она стояла под распоряжениями Совета, под выписками о выдаче материалов, под одной строкой о перевозке ребёнка через внешний переход, где фамилия была стёрта.

За дверью хлопнуло, и в проходе между столбами показалась Селест Арвей с двумя папками под локтем.

— Доброе утро, — сказала она и остановилась, увидев лицо Евы. — Что вы нашли?

Ева развернула к ней книгу.

— Смотрите. Это писарская рука?

Профессор подошла, наклонилась и смотрела долго, наверное, целую минуту.

— Это она, — сказала она наконец. — Я видела этот наклон двадцать лет в старых делах. Так писал человек, которого в описях нет: за него всегда расписывался кто-то другой.

— Как он может быть без имени?

— Очень просто. — Селест выпрямилась. — Если человек пишет бумаги за Совет, то его самого вписывать некуда: его рука и есть документ. В старом фонде таких строк сотни. «Внесено», «исполнено», «принято к сведению». А кто внёс, кто исполнил — не указано.

Ева закрыла книгу. Внутри у неё уже выстраивался столбик, как выстраивался всегда: четверо от Совета, три писаря, врач, один человек без должности. Дверь в нижнем зале открывается изнутри, и трогали её воздухом. Бумаги в академии правит рука, которая пишет здесь двадцать пять лет без всякого права.

— Мне нужна копия, — сказала она.

— Копию вам не заверят, — сказала Селма от своего сто-

ла. — Распоряжение о выдаче заверяет тот, кто приезжает с комиссией.

Ева достала чистый лист.

— Значит, заверю сама.

Копию Ева снимала по правилам, как снимают смету: сначала шапка, потом графа за графой — дата, от кого, что, кому, сколько листов. Почерк у неё был ровный и мелкий, тот самый, которым она семь лет писала замечания в чужих отчётах, и рядом с писарским он выглядел учительским.

Она переписала опись за сентябрь, потом октябрьскую страницу с комиссией, потом три строки о спусках в нижний уровень — с датами, с часами, с числом людей и с графой «сопровождал». На последней строке она остановилась и перечитала графу ещё раз.

— Селма, за вход в нижний уровень кто расписывался?

— Я говорила. Номера.

— А в графе «сопровождал»?

— Тоже номера. — Селма подошла и посмотрела через её плечо. — Так у них заведено: человек идёт под номером, а не под фамилией. Фамилию можно позвать. Номер позвать нельзя.

Ева дописала обе копии, и внизу каждой вывела: «Копия снята с подлинника постранично. Листы 41–46. Сверила: Корнилова, смотритель галереи». И поставила дату.

Селест прочитала это и сама взяла перо.

— Засвидетельствую, — сказала она. — Подлинник

предъявлен, расхождений нет.

Селма не сказала ничего. Она вернулась к лупе и больше не поднимала головы, и это было самое громкое, что она могла сделать молча.

— Комиссия уехала в тот же день, — сказала Ева.

— Уехала, — согласилась Селест.

— А за ноябрь в книге три спуска, и все — «по распоряжению комиссии».

Профессор взяла копию и перечитала три строки.

— Распоряжение есть, — сказала она. — Комиссии нет.

— Вот именно.

— Я ключи вниз не выдаю, — сказала Селма от стола. — В нижние хранилища ходят с бумагой, а не с ключом. Я выдаю бумаги. Людей я не считаю.

— А кто считает?

— Тот, кто их вносит. — Селма кивнула на книгу. — Рука.

Ева вернулась к трём строкам и прочитала их подряд, как читают счёт. Два спуска сопровождал один номер, третий — другой, оба из той же серии, что стояла под распоряжениями. И все три строки, включая графу «сопровождал», были заполнены второй рукой: наклон влево, длинный хвост у «д», нажим на первых буквах.

— Селма, — сказала она. — Распоряжение, по которому вам дважды выдавали описи, с каким номером было?

— С номером. Цифр я не помню. Я помню, что все графы были на месте.

— А в книге выдачи он записан?

— В книге записано всё. — Селма помолчала. — Всё, что мне велели записать.

Ева нашла книгу выдачи на полке за столом и открыла на прошлом месяце. Так и было: описи входящих бумаг, два раза, оба по распоряжению, номер один и тот же. Она сличила его с копией и положила перо.

Тот же номер стоял в графе «сопровождал» под третьим спуском в нижний зал.

Комиссия приехала вчетвером, с тремя писарями, врачом и человеком без должности — девять человек, из которых подписи не оставил ни один. Рука, вписывавшая спуски, была одна. Номер, ходивший вниз и бравший бумаги, тоже один.

Ева села к столу и открыла тетрадь. На свободной странице она написала номер и под ним одну строку:

«Рука без имени. Одна на все спуски, одна на все решения».

Внизу она оставила место и приписала, подумав:

«Ждать следующей бумаги».

— Я запрошу у Совета список номеров, — сказала она.

— Ответят через месяц, — сказала Селест. — И пришлют свой список.

— Пусть пришлют. Тогда у нас будет их список и его отсутствие в нём.

Профессор посмотрела на неё и ничего не ответила, но

копию взяла с собой, а не оставила на подоконнике.

Вечером Ева отнесла свою копию в галерею и положила в запирающийся ящик, к документу о печати. Пёс спал у медной полосы и не поднял головы.

Утро она начала с бумаги.

Запрос Ева писала по правилам Совета, потому что других здесь не понимали: коротко, без единой просьбы, с одним «в связи с» и одним «прошу». «В связи с постоянным наблюдением за состоянием печати прошу сообщить полномочия лиц, сопровождавших комиссию при спусках в нижний зал». Ниже — должность, подпись, дата.

Селест перечитала и отложила лист.

— Вы просите у них список номеров.

— Я прошу то, что обязаны сообщить смотрителю печати. — Ева поставила точку. — Не сообщат, попрошу письменный отказ.

— И что вам даст отказ?

— Отказ — это тоже бумага. В ней они сами напишут, что смотрителю печати полномочия не сообщают.

Профессор читала копию молча, до конца.

— Двадцать лет я подписываю здесь бумаги, — сказала она. — И ни одна из них ничего не меняла.

— Эта меняет. Мы впервые просим у них, а не отчитываемся.

Селест подписала. Ева отнесла запрос в архив и сделала то, чего в академии не делали: не отдала лист, а внесла его.

Входящий журнал лежал у Селмы на столе, и запись о запросе она вывела в нём сама, своим ровным мелким почерком, а рядом поставила дату.

— Их ответ придёт сюда, — сказала Ева. — И впишут его в эту книгу.

— Впишут. — Селма закрыла журнал ладонью. — Той же рукой.

— На это и расчёт.

— Тогда считайте и другое. — Селма подняла голову. — За вами теперь тоже будет строка.

Ева взяла вторую копию, сложила её вчетверо и убрала в карман.

Вейн пришёл к вечеру: мясо для пса он оставил в галерее и нашёл её в архиве.

— Я подала запрос в Совет, — сказала Ева. — От имени смотрителя.

Он прочитал копию и вернул ей.

— Теперь они будут считать тебя строкой в деле.

— Я и была строкой. — Ева сложила лист и убрала в карман. — Скажи мне другое. Ты можешь посмотреть дело брата?

Вейн не ответил сразу.

— Раньше мог. Сейчас я частное лицо: ни доступа, ни права требовать.

— Требовать не надо. — Она встала. — Надо посмотреть входящие. Решение по его делу шло через академию, а вхо-

дящие лежат здесь.

Она спросила у Селмы книгу четырёхлетней давности. Селма поднялась, отстегнула ключи от пояса и пошла в дальний конец зала; вернулась она с толстым серым корешком и положила его на стол, не спросив ни о чём. Потом снова села к лупе.

Книга пахла пылью и воском. Ева открыла её на осени и пошла по строкам: от кого, что, кому, сколько листов. Она искала долго, потому что названия были длинные и скучные, как у всего, что пишут близко к беде.

Нашла на четвёртой странице: «По делу о состоянии Северной стены. Решение. Четыре листа».

Внизу, под строкой, той же рукой, что и в описях, и в ноябрьских спусках, было выведено одно слово.

«Исполнено».

Вейн стоял у её плеча и читал вместе с ней. Она слышала, как он дышит, и как дыхание останавливается на середине, и как потом идёт снова.

— Вот оно, — сказал он тихо.

— Вот оно.

Он отнял у неё книгу — осторожно, как отнимают горячее, — и посмотрел на строку ближе, чем нужно человеку со здоровым зрением.

— Я держал в руках решение. Мне принесли его утром, я прочитал его при Совете и до вечера считал, что это приговор. — Он провёл пальцем по слову. — А это не приговор.

Это рука, которая закрыла дело.

— Его закрыли не потому, что он умер, — сказала Ева.

Вейн долго молчал. Потом закрыл книгу и положил на неё ладонь, будто придерживал.

— Не пиши этого в отчёт, — сказал он.

— Не напишу.

Он сел рядом, и на этот раз между ними осталась не вытянутая рука, а ладонь. Ева не отодвинулась.

Они просидели так, пока из окон не ушёл свет и в галерее не стало темно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.